

18+

Илья Нагорнов

**НЕБО
ХОЧЕТ НАС
НАЗАД**



Ridero



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ
«ЛИЦЕЙ»
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ПОЭТОВ

Илья Нагорнов

Небо хочет нас назад

«Издательские решения»

Нагорнов И.

Небо хочет нас назад / И. Нагорнов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988995-9

Он — учитель, а она замирает от его взгляда и голоса. Молодой филолог, учитель по распределению, чужак в маленьком городе. Девочка, чей мир соткан из мечты, живописи и скорби по погибшему отцу. Дальше будет много жизни, много лета, и чуточку войны, и любимые лица будут блекнуть на её глазах, и тысячу раз паром причалит к её берегу, и пенные волны будут касаться её ног. Это будет потом. А сейчас послушайте её разговор с вечностью: песню последнему человеку, зов того, кто должен прийти следом.

ISBN 978-5-44-988995-9

© Нагорнов И.
© Издательские решения

Содержание

1	6
2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Небо хочет нас назад

Илья Нагорнов

© Илья Нагорнов, 2020

ISBN 978-5-4498-8995-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

– Если ты не против, я продолжаю. Пришла весна, майские...

– Майские?

– Да: флаги, жуки, и можно без шапки.

– Прости, в каком году?

– В любом.

– Флаги? Неужели, красные?

– Не помню, красные, зеленые... Флаги, как флаги, так важно? Не сбивай, пожалуйста.

Говорю: весна, май, и жарко так, что все удивляются. Неделю назад удивлялись, как холодно, будто в первый раз. В общем, весна та...

– Последнее, в какой стране?

– В любой!

– Извини и продолжай, пожалуйста.

– Так, весна, жуки... Да, жуков курткой хлоп – как орехи падают. Мальчишки кричат про какие-то мессершмитты, а нам – жуки как жуки, хотят нежных листочков. С черными усами – цыган, с коричневыми – русский. Это тоже мальчишки придумали, мы бы никогда. Цыгана я, кстати, ни разу не видела, одни русские. Полный коробок, скребут и нехорошо пахнут, если забыть. А подложишь березового салата, протянут подольше. Выпустишь – без желания к жизни волочатся, крылья из-под хитина выпростались. Грустно, не жильцы, а ведь сама в коробок-то, сама.

– Про жуков рассказ?

– А как без жуков? Без них не получится. Не знаю тогда...

– Обиделась? Я ж уточнить.

– Ну хорошо, не только жуки. Вот костры жгут, в чем попало же не выйдешь, народу тьма на улице. Платье наденешь новое синее, в крупный белый горох. В лучших туфлях седую траву вычесываешь, чтобы молодая скорей, а тебе все, кому не лень: «Нюрка, чего вырядилась?» Ты же рукой машешь, мол, ничего не вырядилась, платье старое, не жалко. А он смотрит. Будто все про тебя знает, деловито прилаживает ветки в кучу, не как я, сверху наваливаю, а по уму, как в гнездо сорока. И костер у него пылает с одной спички. Сашка Вахтов, вечером звал кататься. А на мне, между прочим, синее платье с кружевом – вот тут.

Сашка высокий. Не подумай, не так уж это и важно для меня, но, скажи, разве плохо, что ростом Сашка в отца, а не в маму метр шестьдесят?

– Хорошо, что в папу.

– Да, за сочинения у Саши часто тройки, но математичка открывает рот, когда решает он задачки со звездочкой. А еще Сашка на новогоднем вечере предпочел меня зазнайке Томилиной. Красотка наша, если не понял.

Актный зал, музыка из транзистора с хрипотцой, танцуем молча. Темно так, что лиц не видно, Саша в волнении расплющивает мне мизинец (в голубых пляшу босоножках). Боль нешуточная, но улыбаюсь, и сердце мое тоже, забывает биться, проваливается, не знаю куда, наверно, в пятки. Кружим с Сашкой дальше. Лбом чувствую теплое, молочное его дыхание, а рядом с моей сердечной пяткой пульсирует мизинец (на утро потемнеет – точь-в-точь фасолина). Затем кто-то вредный обрывает танец выстрелом из хлопушки, в волосах у всех мгновенно – конфетти. По этому вечеру у меня все.

– Пару деталей, штрихов, и понятно, что за вечер. Умница, не люблю долгое ля-ля. А то, знаешь, некоторые без умолку могут, и про такое пустяшное, про какое чихнуть жалко, не то что слово сказать. А эти чешут без экономии, и так обскажут и эдак, и слог такой противный, что в ушах чесотка. Ты же вполне молодец.

– Спасибо. Сашка Вахтов владеет мотоциклом, красным без коляски. И когда Сашка верхом, то парусом куртка-ветровка, которая ему чуть велика, но сидит хорошо и очень взрослит нашего мотоциклиста. Должно быть, старшего брата куртка, он у Сашки в армии десантник.

А вечер выдался вкусный от костров, белый от дыма. Улыбчивые соседи с граблями да метлами. От дыма вечер сделался особенным, словно в чай молока добавили, и вот он, Сашка, в любимой куртке поджигает костры, мотоцикл же пока на подножке. Видишь, у клена? Клен этот, надо сказать, очень намусорил осенью. Колесо мотоциклетное немного над землей, и Сашка по-хозяйски на него часто смотрит. А на меня редко, это он специально. Короче, мама ни за что не отпустит. Она тут рядом, следит, ничего не сказала по поводу платья, но знаю, дома попадет и за туфли.

Сашка Вахтов ходит важный. Помощник-бессребреник, посмотрите-ка: в чужом дворе убирает мусор. Мы всем двором верим в Сашкину доброту. Про себя хихикаю, это он сейчас такой непокобели... Тьфу ты! Цельная личность с граблями и спичками. Утром же явился с мятым подснежником и не смотрел в глаза. Прямлялил только, вечером, мол, приду в ваш двор. Стоит, ноги до колен сырые. За подснежником бегал в лес, а лес у нас не близко.

– Не пошла с ним?

– Хотела. На маму посмотрела и не смогла. Она хоть и строгая, но любит, и многое знает про жизнь, а, главное, про меня. Ты не думай, Сашка хороший. И сейчас мчит на красивом том мотоцикле где-нибудь по млечному пути в свои вечные семнадцать. И куртка парусом, да.

Вперед забегаю: Сашкин брат вскоре погиб, я плакала. Хоть и видела его всего однажды, на первом звонке сквозь астры будущих одноклассников, на плечах его тогда сидела довольная Танька Томилина, семилетняя, но уже публичная личность. Казалось, вот-вот уронит она на голову красавцу-старшекласснику тяжеленный на вид колокол с красной лентой.

В общем, Сашкин брат погиб вскоре. Говорили, что его моджахеды, это уж потом выяснилось, что свои случайно. А может все-таки моджахеды, или вообще печенег: из черепа – сосуд для вина, и ведь не противно. Эти ваши войны, тьфу на них! Детские проказы, а кровь до холки коня. Зачем до холки, почему садам не цвести?

– Всегда что ли цвести? Надоест. Погиб и погиб, бывает, у вас-то что?

– А у нас в квартире... Мы в доме с мамой жили, а газ никогда не проведут, хоть и обещали так часто, что надоело. Грелись дровами, и весне радовались не то, что газифицированные. Сашка и помогал мне укладывать поленницу, у него выходило аккуратно, у меня тьяп-ляп. А на ногу ему съехало. Звонкие, березовые, несколько штук разом. Получилось, как бы, в отместку за новогодний танец, за фасолину, но я не нарочно. Веришь?

– Верю, а дальше?

– Ну а что? Сашка виду не подал, покраснел только, хотя, должно быть, больно.

– Не про то я.

– А, третье мая дальше: день учебный, все ленивые. Первым уроком алгебра, где Сашка-звезда, а потом, по расписанию, русский. После перемены он и пришел. Лексей Петрович, Леша.

– Первый раз его увидела?

– Почему первый? Видела до праздников, кажется, в пятницу, в коридоре у расписания. Мы с девчонками обсуждали Асю тургеневскую: какой он, этот её ненаглядный, все-таки противный рохля и, в общем-то, дрянь-человек, и что любили бы друг друга, так нет. Вот тогда Лексей Петрович мимо нас и прошел, вернее не прошел, а спросил, где класс русского-литературы. Мы переглянулись, а Танька – она у нас нахалка, все ей божья роса – осмотрела всего с ног до головы и брезгливо так: «Вам зачем еще?» Растерялся (ну, Танька!), раскраснелся, стал трясти учебником русского за десятый, обложка от рук намокла, бормотал, что новый учитель. Мы поняли, практикант.

– Чайку поставить?

- Поставь. Практикант, поняли мы... У вас и чай есть?
- У кого «у вас»? Ты что, в гостях?
- Извини, не привыкла еще.
- Чай есть, но это не совсем чай, а как бы его изнанка.
- Что значит? Как носок? Выворачиваешь, а там две нитки, как у сома усики?
- Почти. Сам чай, сушеные листочки, он, конечно, отсутствует, но так как мы про него помним, и во рту у нас по нему жажда, то вот он, пожалуйста, парит и жжется, если плеснуть на штанину. Про штанину – для наглядности, понимаешь ведь? Штанов тут, если заметила, не носят, бесштаных, впрочем, тоже нет. Черте-что несу, чайку лучше поставлю.
- Да уж, нагородил.
- Не поняла? Вот зажмурься, ну представь, что зажмурилась, и мигом все поймешь. Поймешь и примешь: мы везде и нигде. Кстати, ты из большой чашки будешь? Или для церемоний, в два глотка наперсток?
- Я из большой, только не с толстыми стенками, а то губе неудобно прихлебывать.
- Как скажешь. Хотя губа, она... Ну ладно, вот зажмурься сначала.
- Что, и засвистит?
- Кто?
- Чайник, «кто?»
- Это по желанию. Рассказывай про практиканта, интересно же было.
- Что, и сахару можно? Конфет? Я страсть, как сладкое люблю! Да знаю, задница растет и вредно.
- Это там вредно, а тут ни вредно, ни полезно, и задница не растет – нету задницы. Оттого не так вкусно. Нюся, Нюра, Аня, соберись! Давай: практикант...
- «Нюся» звал меня, верно. Ты думаешь, мне про чай с конфетами больше хочется? Это я боюсь: расскажу, и он исчезнет. Или останется? У меня ведь не так много их.
- Кого это «их»?
- Вспоминанъев.
- Зачем слова коверкаешь?
- Не знаю. Может, от жадности. Делить не хочу ни с кем слова такие, важные ведь. А исковеркала, и все – мое слово, ни у кого больше такого нету! Ну так что, расскажу, а с ним что будет? Останется или во тьму?
- Останется, для того и разговор. Тут у нас все остается, как в песках египетских, все папирусы целенькие, будто вчера из-под стилуса. Не бойся, Нюся, написанное и прочтенное – считай вечное. Альфа и омега, как говорил твой учитель истории. Помнишь ли? Из ноздрей его и ушей торчали не волосы, а пучки пожухлой травы. Еще были зубы в два ряда и слуховой аппарат – слишком много примет для одного человека. Знаю, ты так не считаешь. Он говорил, если вру, поправь меня, говорил: «Альфа и омега, начало и конец... урока». Затем, хохоча, выходил из класса.
- Хорошо, что ты вспомнил. Нужно, кровь из носу, как нужно забрать с собой и его. Оставить его было бы непростительно. Ты молодец, я растрепа, забыла бы.
- Думаешь, его еще никто не забрал?
- Не знаю. Возможно, часть его уже тут, но моя доля еще там, это точно, и вот почему. Слушай и, пожалуйста, не перебивай, а толюбишь. Александр Григорьевич Городнов. Др-гр-гр. Холостяк и любитель бабочек. Изо всех сил старается историю нам не преподавать. Помню: выкладывает на стол красное яблоко. «Докажите, что оно черное», – говорит. Веселье и хаос! Все кричат и бегают, ни у кого не получается доказать черное яблоко. Тогда Александр Григорьевич делает это за нас. Зашторивает окна и гасит свет. «Слабаки», – смеется, сам черный, как яблоко.

Мальчишки его не особенно любят. Вернее, я допускаю, что любят, но не дай бог кто узнает. Честно говоря, когда мальчишки группой, бандой, компанией, смотреть на них неприятно. Так что, думаю, любят они историка, но не в открытую. В открытую любят только физрука за ужасную его колоду карт и такие же анекдоты. Мальчишки со вкусом обсуждают вот что. Будто в молодости Александр Григорьевич зажевал велосипедной цепью... ну это самое, и потому до сих пор холост. Противный Зорин предлагает в свидетели свою маму, врача-уролога. От этого мальчишки смеются вполне искренне, пишут записки, передают по партам. Вот что, скажи, можно написать в таких записках? А они знают, что. Спартанские глупые порядки, тюремная мораль – такие мои мысли по этому поводу. Мол, судьба «опускает» недостойных, и мы ей аплодируем во все обезьяньи ладоши. А ты что думаешь?

– Что? Извини, я прослушал, отвлекся, задумался. Прости, ты про парты, про Спарту, что-то такое, да? Ужасно, согласен, со скалы... Бессмысленно и жестоко, в чем они виноваты, эти горбуны и калеки? О другом? Не дуйся, прошу! Отныне я – чистое внимание. Больше такого не повторится, обещаю.

– Какое я имею право делать тебе замечание? Сказала же, если хочешь, слушай. Не хочешь, получается, не слушай. Просто, я думала, наш разговор – не для меня одной. Решила, глупая, он и тебе важен.

– Очень! Режь меня ножом, как важен! Прости, Нюся, как мне тебя убедить?

– Ну все, не будем терять времени, если ты слушаешь, я продолжаю.

– Конечно, я слушаю, как я могу не слушать, я стал ухом! Других членов у меня нет. Огромное, меж звезд парящее, ухо.

– Членов у него нет, смешно. Продолжаю. Девочки наши из-за велосипедной цепи Городнова жалеют, но все же брезгливость скрыть у них не получается. А я как-то сразу почувствовала, не хочу себя выделять из толпы, но сразу решила, что все это вранье, а со временем и вовсе убедилась. Во-первых, Александр Григорьевич до сих пор обожает ездить на велосипеде. Как вам такое? При тех обстоятельствах вряд ли. Во-вторых, я постоянно вижу его после школы и в выходные с женщинами, и одна из них очень даже веское доказательство его мужской состоятельности, легкая, ароматная, как лепесток. Цветок такой: белый, сладкий, в Китае его подают к чаю – забыла, как его... Неважно. Важно, что легкая, что молодая и ароматная. Я стараюсь быть незаметной, смущать Александра Григорьевича не хочется, а хочется, чтобы все удалось, что он там задумал, ни от кого не убудет. Но отказать себе в наблюдении не могу отчего-то, хоть и стыжусь своего филерства. Честное слово, стыжусь!

С женщинами, большими и маленькими, он дворянин. И они не отстают, преображаются, держат спинку, будто в корсете, смотреть на них – удовольствие. Ту молодую, с яркими глазами (пожалуй, синими), он как бы невзначай придерживал за локоток. Она работает в парикмахерской, и однажды я долго ждала, чтобы подравняться именно у нее. Зеленые! Конечно же, зеленые у нее глаза, как я могла перепутать? Ножницы в быстрых пальцах острые, не рвут, как у других мастеров в этой парикмахерской, уж я-то знаю! Яна – имя девушки, и историк, несомненно, зовет ее Янусом. Редко, в шутку, но зовет. Глупости, никакая она не двуликая. Яна всегда улыбается, и всегда не понарошку, просто очень светлый человек.

Но однажды он заметил меня, я тогда не шпионила, а писала пейзаж. Подожди-ка! Ты, наверно, подумал, что раньше я шпионила специально и только с этой целью выходила из дому. Нет же! Я всегда замечала его (их), когда шла в магазин за молоком, в художку, в библиотеку, в ту же парикмахерскую. То есть, следила случайно. Не спорю, иногда я выбирала длинные окольные маршруты, чтобы быть с ними по пути, но всегда, подчеркиваю, всегда приходила в точку Б (магазин, художка, библиотека, парикмахерская) почти без опозданий. А значит, сказать, что я следила специально, – нельзя, несправедливо будет, так сказать.

– Нет, конечно, я так не думал. Потому что совершенно очевидно: шпионство отнимает много сил и нервов, и нельзя заниматься таким беспокойным ремеслом между делом, это

была бы невыносимая для тебя халтура. А твоя... любительская слезка, да, любительская, как колбаса, слезка, она крайне безобидна. Так безобидна, что говорить об этом, значит изводить понапрасну слова.

– Да, ты прав, особенно – про слова. На чем я... Да, Александр Григорьевич Городнов заметил меня, когда писала я пейзаж, это было за год до той весны и того лета, про которые я начала рассказывать. И даже Сашка еще ко мне не клеится, не мелькает тут и там резвый его мотоцикл. И вот: Александр Григорьевич замечает меня в лугах на полянке (я пишу озерко и плаксу-иву), и его лицо становится растерянным, как у нашкодлившей таксы – легко представить, правда? Кажется, Городнов бледнеет или, наоборот, краснеет – на солнце не разберешь. Смешной, для меня он такой впервые. Бабочек тут ловит, белая на нем панамка, неважно какого цвета майка и короткие шорты. Коричневые в траве сандалии (волосатые ноги без носок, если интересно). Тебе понятно, от чего он растерялся? Мне понятно. Для нашего крошечного городка, и для любого другого тоже, подобное занятие для взрослого мужчины крайне подозрительно, на понимание нечего и рассчитывать. Ведь всем известно, что взрослый мужчина вспоминает про бабочек, лишь когда они чрезмерно жрут его капусту.

Городнов отвечает на мое «драсйти» и мнет траву вялым шагом, а взмах его сачка становится безвольным и слабым. Он так никого и не поймал, кажется. Мне стыдно, я краснею или бледнею, на солнце не разобрать. Я заставила человека очень сомневаться в себе, и поэтому собираю краски и ухожу – какой теперь пейзаж? Никакой. Но через неделю я опять увижу тут историка.

– А что, если правда?

– О чем ты? Почему ты всегда... извини, конечно, но всегда мямлишь, и приходится вслушиваться, чтобы понять, о чем ты. И эта твоя манера бросать огрызки фраз, будто тебе лень говорить. Плюс этот акцент... Звездный что ли диалект?

– Хорошо, я спрошу развернуто. То, что болтали про Городнова и его беде, – что если правда?

– Предполагаешь или знаешь наверняка?

– А ты? Хороша! Что ты хотела доказать и кому, когда следила за ним и его, якобы, подружками? Аня, признайся, чего уж теперь стесняться, признайся: для того чтобы уважать его – а ты чувствовала, что он достоин уважения, – тебе нужно было доказать хотя бы себе самой, что Городнов здоровый мужчина. Понимаю. Попробуй зауважай человека без члена, без чресл, без елды до колен. Ой, нашу Ньюсю поймали за руку!

– Что ты несешь?

– Да, несу, несу такое, какое тебе не унести. Смотрю я на тебя в связи с этим, и неприятно: осуждала одноклассников, отходила от толпы в сторонку – какая поза! Скажи, чем ты лучше?

– Как ты меня обижаешь! Он был мне интересен, а ты ничего не понял! Как обычно! Не так много интересных мне встречалось людей, чтобы даже одного пропустить. Он должен был чему-то научить меня.

– Так чему же? Клещами из тебя вытягивать?

– Какой ты грубый! Вот уж не думала... Городнов? Да, научил! Вот тогда на поляне научил, в своих нелепых шортиках научил, панамкой, своим детским сачком без бабочек научил. Нужно вопреки всем катить на велосипеде, хоть в сорок, хоть в семьдесят, хоть в сто пятьдесят, хоть...

– Ясно.

– Понял ты, как же... Катить и катить на велосипеде с сачком на раме к любимым полянам, где присели и ждут... пестроглазки, перламутровки и – чем черт не шутит! – нимфалиды. А люди пусть смеются, пусть просверлят дыры у себя в висках, в конце концов они – никакое не зеркало! Он научил: по выбранному пути тяжело шагать. И еще: вопрос «стоит ли

шагать?» – это вопрос без ответа. Пожалуй, больше ничему не научил меня Александр Григорьевич Городнов, больше ничему.

– Ну прости, что накричал, некрасиво вышло. Надеюсь, ты понимаешь.

– Постараюсь, но, знаешь, я не привыкла.

– Знаю, но долго не обижайся, прошу тебя. Хотел спросить. А Леша? Они ведь были знакомы?

– Знакомились. Леша хорошо отзывался о Городнове, они даже как-то напились. Лешу наутро рвало, а Городнов поехал на велосипеде ловить бабочек, сачок на раме. Почему так?

– Потому что отсутствует у кого-то расщепляющий алкоголь фермент, а у кого-то – в наличии. Потому что альфа и омега, везде и нигде. И задница не растет, помнишь?

– Такого не забудешь. Вот ты сказал «прочтенное», а кто прочтет? Он прочтет? Тот, без фермента?

– Конечно, дурочка.

– Не обзывайся и не кричи, объясни лучше. Везде и нигде – понятно, но все-таки, «тут» – это где?

– Где? А ты про каких жуков рассказывала? Ну те, которых курткой?

– При чем тут... Майские, какие еще в мае? Позже – июньские, бензиновый перламутр на спинке, необъяснимо отвратные, в руки не просятся, маленькие скарабеи. А майские, их хочется много набрать, они как желуди.

– Вот коробок с «желудями», держи. Подними на ладони, затем к уху, слышишь, скребут? Коробок – это и есть «там». Ладонь же, и ты целиком, и платье, и белый на нем горох, и весна вокруг, и костры, и соседи, и Сашка этот, и красный возле клена мотоцикл, и главное впереди лето, и ветерок у тебя в волосах – все это «тут», в коробок не влезло. «Желудям» не видно, что снаружи, им только свет в щелочку. И ты – ну признайся! – тоже не знаешь, что в коробке. Да, жуки, но это когда было, а теперь пахнет, и страшно открывать. Спросит кто-нибудь, что внутри, – пожмешь плечами. Рассказывай, Нюся, не томи, про него рассказывай.

– Урок он вел ужасно. Мел крошился, все брюки ему замучнил, Леше моему. В отчаянии у доски мечется, пишет-стирает, под нос бормочет, чихает. Все, конечно, ржут, как кони, особенно Назаров, дылда тощая. Говорит: «Лексей Петрович, мы это уже с Ириной Юрьевой проходили, давайте лучше анекдоты. Вот свежий, про Вовочку...» И, значит, про Вовочку на весь класс. Прибила бы чем.

– Так прибей, не стесняйся.

– О чем ты?

– Скажи, не Назаров, а, допустим, «Терещенко, дылда тощая» – и все! Нет Назарова, и никогда не было, а Терещенко тут как тут.

– Жестоко, язык не слушается. Назаров, он ведь жил себе, к чему-то стремился, не только же к анекдотам про Вовочку. Может у него любовь случилась всем на зависть? Он слесарь: дерьмо и ключи на четырнадцать, она скрипачка: Альберт-холл и белые розы. И никаких тебе Монтекки, и хоть бы один занюханый Капулетти, но вместе быть не могут – ясно же, пропасть между ними или, наоборот, горы. А ведь все равно, шельмы, будут вместе, и в объятьях умрут, с семейным на груди альбомом. Или так...

– Извини, перебил. Как там Леша?

– Леша не справился. Он не наивный, и про себя и про нас все знал. Готовился, дома перед зеркалом репетировал, как он воображаемого наглеца на место ставит, и все вмиг затихают, носы в тетрадах. В зеркале – убедительно, а в классе растерялся, милый мой, хороший. Голос повысил, хоть и спорил всегда с сокурсниками, мол, непедагогично, а тут вскрикнул, смешно, с истеричной ноткой. Вскрикнул, а толку? По-звериному в классе почуяли, что с Лешей все можно, что Леша – учитель случайно. Вон Танька-нахалка губы мажет, шлет ему поцелуи. Зорин с Бакиным – в морской бой: е-десять, мимо, бэ-три, убил. Егорова, Томилина,

эти кумушки в «Бурде» по уши, в выкройках кардигана. Назаров же, чего уж там, на парте, как Ильич у райисполкома, большой палец под невидимую жилетку заправил, про широкие штанины орет, Маяковский в гробу юлой. А Леша им про сложносочиненные.

Я сижу, и помочь ему не в силах, черкаю злые снопы в тетради. Думаю, вызвал бы что ли завуча, женщину-скалку, раскатала бы нас в тонкий блин, завернула бы в него и русский, и литературу, и как учителей уважать. Когда про учителей, то палец острый вверх, а как уходить – полувоенный френч свой поправит, ни за что не забудет.

– И чем кончилось?

– Пришла, конечно. Сама, без кляуз пришла, почувяла, видно, завуч анархию в классе русского-литературы, вошла с облаком «Красной Москвы», взяла с поличным. Карала по очереди, взглядом давила – как пальцами на глаза. Бунтовщикам по дюжине шпицрутенов плюс журнальный расстрел: Головка? Два! Назаров? Кол.

А может, и не приходила. Дребезжит звонок, и Леша выдыхает: лоб блестит, указка, как шпага, виснет. Отвоевался. Нам-то в другой класс переходить, а он сидит над журналом, будто все равно ему, что тут творилось, сидит, а все его мучители лезут мимо, глаза бесстыжие не прячут. Мол, эх, Лексей, как вас там, Петрович... Не орел, не пахан, и не дембель! Нас надо в бараний рог, а вы в демократию, когда с нами в демократию, мы под этим слабость чуем, нам же просится вдоль спины хворостиной. Какие нам длани? Нам бы кулаки с прожилками.

– А Саша твой? Вахтин?

– Вахтов. Он из параллельного, Леша и у них вел. Сашка приехал как-то вечером: за окном стрельба мотоциклетки, в дверь стучит настойчиво. Я его спелю, чтоб соскучился, не сразу иду открывать. Стоит, отцовским одеколоном облитый, дышать нечем, глаза – черешни. «Пойдем, – говорит, – кататься». И с чего решил, что пойду? Договорились ведь, гуляем возле дома, и все! Так нет, «кататься пойдем». Взбесил, говорю: «Некогда мне, доклад по биологии!» Сник, конечно, и спесь с него, как с гуся вода. Пожалела, пошли по улице.

Молчим, птицы поют красиво «тюфить-тюфить». Сашка ветку сорвал и про Лешу начал. Что они у него на уроке вытворяли, почище нашего! И насмешливо так про Лешу моего... про Алексей Петровича отзывается, что он совсем без стержня. А сам-то? С двойки на тройку по русскому, а возомнил! «Ну и что, что математик, – говорю, – языка родного не знаешь, позор тебе, фитюлька!» Ветку бросил, обиделся, конечно. Молчим. Прохладно сквозит, и Саша куртку свою мне на плечи прилаживает. Пахнет от куртки вкусно костром, а я как скину ее на дорогу, для себя неожиданно, и без жалости говорю: «Ты в фильме что ли подсмотрел этикетки такие, ухажер?» Он поднял ветровку и, не отряхнув, пошел, а я стояла долго. Слышала, как затарахтел за домом мотоцикл. Домой вернулась, кожа гусиная по рукам, плачу, маму напугала, дура.

– Дай угадаю, не был больше?

– Сашка что ли не был? Не про него. Отошел и на выходных прикатил, как миленький. Только я уж к нему такого не чувствовала, стала замечать в нем противное. Все время поправляет меня, умник, чего не скажу, он знает, как правильнее. Весь из себя аккуратист, а на пальцах заусенцы, на шее зрелый прыщ уже неделю, так бы и выдавила, смотреть невозможно. А еще дерется со всеми, вот с Низюлей из первой школы схлестнулись, морды в кровь, а из-за чего, спрашивается? Говорят, из-за Томилиной. Для чего мои пороги обивает? Так ему и сказала: «Ты, Александр, слышала, любвеобильный, а мне такое зачем?» Не ходил неделю, видать, крепко думал. Умножал, делил логарифмы, или что там с ними делают. Потом приехал, но я этому математику не открыла. Вкусный у тебя чай.

– Спасибо. С секретом: когда уж почти заварился, бадьяна звездочку туда.

– Ясно. Четверть закончилась, у меня по алгебре «тройка». Мама в ярости, на следующий год в институт поступать, а я «голова-два-уха». Зато по русскому «пять», и по литературе, а ведь до Леша – сплошные «чепыре», Ирина Юрьевна семь шкур драла за «отл».

Той весной на русском я одна записывала, и к доске одна. Одноклассники нас с Лешей тотчас обвенчали. Болтали всякое, даже приятно. Подруги квохчут за спиной, интересно им, а я нос повыше, как бы все равно мне. У самой же внутри щекочет и дышать трудно, когда он рядом, сердце бьет чечетку. Не знаю, смотрел он так... Разговаривал глазами, а слова лишними считал, словно всё испортят слова, какие бы ни были. К нашим дуракам приспособился, не то чтобы тихо на уроке, но без плясок на парте, – угомонились, на лето силы копили, мыслями кто-где. Леша улыбочку защитную заимел, без конца ей пользовался, дома у зеркала, видно, натренировал. Улыбочка «идите-вы-я-выше-неба». Решил, «порядок» в классе – заслуга улыбочки. Я уже тогда его, как облупленного. И еще казалось, ему этот наш выдуманый роман нравится.

– Когда он к тебе подошел?

– Так и не решился, уехал к себе в областной центр. Но я знала, вернется. Большое тепло надвигалось паровозом, у меня от него в животе нагрелось. Мама сразу заметила, всполошилась, поняла, что это даже не Саша. Хотела меня сослать к бабке, в Веткино. А там, в этом Веткино, коровы мычат, гоняют мух хвостами без толку, а парни, так те чисто из глины, голые всегда по пояс. Могут и верхом перед городской козырнуть, копыта искрят об асфальт. Брови от солнца как сено у этих деревенских, и каждое слово, как заморский фрукт. Мир незнакомый, манящий. В общем, план у мамы не очень был.

Летом мне на пленэры нужно, а мама говорит: «У бабушки хоть изрисуйся: луга, озера и старая церква!» А я: «Мама, не рисуют, а пишут, сколько раз говорить! А ребята из художки... А Татьяна Павловна?» Но если мама что решила... Она хоть и любила мои работы, особенно пейзажи, – на стенах обоев от картин не видно – но никак не хотела меня в городе оставлять этим летом, словно кто-то из ваших ей нашептывал про нас с Лешей. Но в деревню не получилось из-за алгебры. Четверть закончилась, репетитора нашли, Марию Александровну Овсянкину. Тетю Машу.

– Подлить чайку?

– Подлей.

– Конфетку? А то с языком пьем.

– Давай. Стишок детский знаешь? Чей нос? Славин. Куда ходил? Славить. Чего выславил? Копеечку. Что купил? Конфеточку. С кем съел? Один. Не ешь один, а ешь со мной. Не знаю, почему вспомнила.

– Знаешь, не ври. Какую будешь?

– Про что ты?

– Про конфеты, какую тебе?

– «Маску» хочу. Леша любит, пожалуй, вкуснее нет. Две можно? Одну оставлю, мало ли.

– Хоть три.

2

– Полезла за любовью в книги, к Тургеневу. Страницу прохожу ответственно, каждое слово пальцем придерживаю, а по сюжету не двигаюсь, в голове – Леша. Читаю заново, буксую на пятнадцатой. Чуть вникла, а у Дмитрия Санина... Какую паскудную выбрал фамилию! А у Дмитрия, опять же, Санина – Лешино лицо: глаза узковатые, степные, и улыбка... с намеком улыбка. Я дневник свой школьный затрепала, излохматила, на оценки Лешины смотрю, трогаю эти его пузатые пятерочки, а еще похвалой отметил внизу на полях. Вроде как родителям подмигнул, маме, то есть. Забыла, как же он написал...

– Этот дневник?

– Этот, а как... Впрочем, ясно. Последняя учебная в мае, и смотри, что пишет:

«Анна – крепкий гуманитарий. Рекомендую поступать на филологический». Смешной. А я читаю: «Анчоус, Нюшкин, Нюся – майская, воздушная, из пены морской вышла, пальчики в песок». Маме показала, она про филфак скептически. Хотела дочь-врача, планировала болеть на пенсии. Я же хочу на режиссера, считаю, у меня способность. Кульминация, катарсис, развязка – это я могу, это мне по силам. Вижу сны как фильмы, в качестве оператора: главные героини отдуваются, а я парю. Маме все уши прожужжала, она только смеется, думает, я просто позлить. Дневник оставляю?

– Зачем спрашиваешь?

– Спасибо. Кусочек той весны, вот прижимаю к себе сейчас – тепло, веришь? Где он был?

– В диване, под мышинным дерьмом. Там еще много всего, этюды твои, кукла, лыжа. Этюды нужны?

– Нет, и сам не смотри. Если в диване, значит неудачные. А я любила рисовать, тьфу, писать. Хотелось все вокруг законсервировать в холсты. Важное, неважное – оптом, потом, думала, разберусь. Там, в будущем, неважное, оно может самое важное, а важное – тоже важное, но с другим оттенком. Дом наш старенький, крылечко съехало, мама на лавочке. Смешная она у меня, правда? Руки на подоле сложила – парадный портрет Караваджо.

– Этот?

– Он самый. Березку пришлось приврать, для композиции. А вот руки мамы без вранья, сколько я с ними намучилась! Замажу и снова, снова, меняю кисть, облизываю часто – во рту крапак, кадмий и вкусные белила. Видишь, выпуклое место? Много слоев. Знала, что это важное самым важным станет, вот и сейчас во рту краска от маминых рук. А ведь рта нет, ты говоришь, и значит этот вкус важнее рта, и губ важнее, а запах важнее ноздрей и носа, если чуеть его и после сме...

– Молчи!

– Что? Хочешь сказать, ее нет?

– Есть, конечно, но подзывать её не следует, не собачка.

– Поняла.

– Потом, я позволю произнести слово, вот то самое. Услышишь, что получится. Ничего не получится – исчезнет значение, и, следовательно, звучать нечему. Такое случится со всеми словами, кроме одного. Но разговору нашему это не повредит, его уже не остано...

– Как время? Его, кажется, тоже не остановить, по моим наблюдениям. Или поезд. Хотя поезд можно, Каренина или... да мало ли кто поезда останавливал.

– Не разбираюсь в этом. Хотел сказать, поезду нашему... тьфу ты! Разговору нашему это не повредит. И мы к этому идем, но пока не подзывай ее, не со...

– Не собачка, помню. Таксы – лучшие, правда?

– Перебиваешь постоянно. «Маска», таксы – вкусовщина... А как же «Ромашка» или, скажем, шарпей. Лайки в упряжке как? Вынесли хозяина из недельной пурги – он думал: все!

Не пить молока из-под оленя, и с женой в пустой яранге не греться, пока дети снаружи бьют духов палками. Таксы... А беспородные что, совсем без внимания? Воеет на кладбище у хозяйской могилы полугончая-полуникто, ее гонят за ограду пинками – грязное, мол, животное, все мы твари божьи, но вычитали где-то, что эта тварь – тварь в квадрате. Она вернется, когда проскрипят ворота, на вой себя изведет, глаза отдаст воронам. Кто еще его так отпоет?

– Не заводись, просто я только таксу хоронила. Вон под той березкой, что для композиции, видишь, холмик-бугорок? Это не гриб, как можно подумать. В конце потешная была, с седой мордой, слепая – помню, рычит на чужого, а это пальто на вешалке. А как запахнет колбасой, так молодеет до прыткости, Люся звали. Мне ее папа подарил, принес в корзине. Стоит в дверях, еле сдерживается, глаза сузились по-хитрому, пиджаком Люську трехмесячную накрыл, говорит: «Гостинец». Два дня пожила Басей, на третий стало ясно, что Люся. Спит, не добудишься, под одеялом совсем без воздуха, ноге от нее жарко. Ест только вкусненькое, не просто живот набить, была бы человек, мизинец при чаепитии оттопыривала бы – аристократия. Настоящая девочка – месячных стесняется, зовешь, идет не сразу, неловко ей. Скажи, собака на кладбище тебя отывала?

– Не знаю. Но иногда приходит какая-то и, я представляю, кладет мне на колени голову. Будто тепло и тяжело ногам, а потом вдруг покажется, что это не собачья – моя голова на чьих-то коленях, и мне легко. Легко, а потом вдруг тревожно. Чьи это колени? Впрочем, это другая, наверно, собака.

– Скорее всего.

– Ты говоришь, папа принес щенка?

– Кто же еще. Папа всегда молодой и, конечно, красивый. Бабушка любила повторять про пути господни, и для меня произошедшее с папой – тренажер для постижения этих самых путей. Ты ведь знаешь, что случилось?

– Нет, от кого?

– Я подумала, ты должен знать. Представь, мой папа, инженер важнящего завода, на брюках стрелочки «обрежешься», шагает от дома к проходной, солнце, лето. На пороге он исколот меня щетиной и пообещал, что после работы на речку. Не успела дверь щелкнуть, а я уже считаю минуты: снимаю по одной с настенных часов и складываю в ладонь. Наберется шестьдесят, высыпаю на стол, придаю форму – получается час, а нужно девять вот таких минутных куличей: восемь рабочих и один обеденный. Еще двадцать минут сложу отдельной кучкой – папе на дорогу, не забалуешь у восьмилетней дочи. А Вовику целых одиннадцать, обеих рук не хватит показать такой возраст. У Вовика уже «дела» на улице, пешком «дела» и на звенящем велике.

Страсть, как любила с папой купаться. Он выдумщик, изображает то вражескую подлодку, то рыбу-меч, а то, вообще, – чудище Ляжкен! У него, у чудища, триста зубов, четыре губы, а на носу – бородавка с картофелину, про которую нельзя вспоминать, иначе Ляжкен обидится и уплывет на родину, к берегам Африки. Из бородавки – длинный волос. Папа нападает на меня в разных облициях, я верещу и брызгаюсь. Но чтобы Ляжкен отпустил этого мало, нужно закричать на весь пляж: «Ляжкен-Кряжкен, пощади!» Отдыхающие косятся, а нам-то что? Мы тоже отдыхающие. Люська лает, хочет участвовать. Смешно плывет, фыркает и больно царапает, если встать на пути, а из воды смешную мокрую достанешь, так долго еще гребет лапками.

Мама отходит от нас подальше, якобы от брызг кудрявятся волосы, но мы-то знаем, знаем с папой: нами любит. У мамы дальнзоркость. Ещё мама в прошлом пловчиха, призер серьезных соревнований, это поэтому у неё широкая красивая спина. Мама выиграла какое-то там первенство, но встретила папу, и он увез ее по своему распределению в маленький городок на Волге, где нет бассейна. Мама теперь не любит воду, не любит реку, выходит из комнаты, когда папа смотрит спорт по телевизору.

Вовик шлепает по воде, вроде как «кролем» плывёт, рвется к буйкам, как конфеты они краснеют вдали, мама кричит и бьет песок пяткой (тут уже папа любит). Мама делает руку козырьком, щурится на неслуха – ему нипочем. Тогда папа отвлекается от Ляжкена и тихо произносит: «Владимир». Когда имя полное от папы слышишь, плохи дела, это и меня иногда касается. Вовик после такого, конечно, тут как тут, возле нас круги наматывает. Я смеюсь: «Вовик, слабо до буйка?» Не обращает внимания, нашел занятие – мешает Люське плыть, она рычит. Меня же внезапно, только ойкнуть успеваю, уносит в пучину Ляжкен.

– Сколько было куличей, когда лопнул мир?

– Не знаю, они исчезли, только стол и пятна от пальцев. Вещи в доме съезжились и долго не выходили за пределы своих контуров: просто диван, просто часы, самое простое в мире трюмо, и папины вещи, невыносимо простые. Что они без папы? Что мы без папы? И уплыло на родину самое любимое на свете чудище.

– Расскажи.

– Дома так было: я у стола в передней, мама в соседней гладит, там жарко от утюга, из-под дивана торчат Люсины лапы с новенькими кожаными подушечками. Вовик, обычное дело, во дворе, а может в запретных гаражах портит брюки. Помню, затрещал телефон.

Есть у телефонов одна важная миссия. Наш свою выполнил и вскоре сломался: сначала сипел в гудках, будто следовало ему прокашляться, затем замолчал вовсе. Он был основательный, серый, с тяжелой трубкой, по такому не треплются с подружкой, закинув ноги повыше, такой для серьезных вестей.

И вот он зазвонил, я обогнала маму, схватила трубку: микрофонная часть у рта, динамик где-то выше уха, шуршит в волосах. «Алё!» – ору. Мама отобрала небрежно, нервно, словно почувствовала. Потом я, обиженная, разглядываю ее со спины и замечаю, как скручивает маму страшная сила: плечи ее отплясывают, и часто-часто сжимаются икры. А потом она медленно, будто в воде, падает, вычерчивая в воздухе фигуру вопросительного знака. Тишина, только журчит падающая трубка. Кляц об пол. Я без толку поливаю маму слезами, потом вскакиваю и – к соседке тете Кате. Через дорогу живет, хорошая женщина.

Рассказывали, папа шел мимо хлебного, и... а как он мог идти мимо хлебного, если ему в другую сторону? А говорили, шел. Говорили, мимо хлебного. Очень долго судачили об этом, тогда еще редко убивали. Сказали, шагал себе мимо хлебного, а у хлебного – небольшой скверик, мы с мамой и, конечно, папой фотографировались там на масленицу: Вовик гримасничает, вот-вот потянется ко мне с «рожками», я в заячьей шапке.

В общем, шел папа мимо хлебного, а по городу бегал сумасшедший... Чуть какая – со скальпелем! Кроме папы он ранил еще женщину. Фельдшер со скорой, наш знакомый, рассказал, что папа помог уложить на носилки ту, всю в крови, женщину, а сам сел вперед к водителю, мол, у меня ерунда, царапина. А в больнице взял и не дожидаясь вечера. Меня забрала бабушка, я папу больше не видела. Говорили, мама у могилы не плакала.

Спустя неделю – мы на кладбище, пришли втроем. Помню, идем мы втроем молча, и так страшно! Ведь мы не временно втроем, а навсегда, и в голове сразу глупости: как на последний папин день рождения был торт, и я обсчиталась с ложками, принесла с кухни не четыре, а три. Мама, хоть и несерьезно, но произнесла тогда с прононсом: «Анна!» Получается, не только ложкой папу обделила?

– Не думаю.

– Думай, не думай, но мы на кладбище, а там – глиняный горб и какая-то деревяшка. Это что, теперь мой папа? Мама молча пересаживает в глину цветок из домашнего горшочка, Вовик шмыгает, гонит с деревяшки ворону. А я глупо осматриваюсь, никак не пойму, где мой папа? Тот, на чьих плечах хотелось плыть и плыть по небу, от сладких облаков отщипывать клочки? Где он? Хотите сказать, под этим земляным куличом? Тогда вы дураки, и нисколечко папу не знаете!

Реву на всё кладбище. Мама не пытается меня успокоить, знает, я и за нее плачу. А Вовчик, конечно, подхватывает, и мы воем, как стая волков, на нас поглядывают: так не принято. Оказывается, и тут есть правила. Но мама словно не с нами – высаживает цветок, Ваньку-мокрого. И небо над нами висит, бессовестно-синее.

Я оглянулась, когда вышли за ограду. Ему же там холодно. Слезы никак не заканчивались.

Потом я поняла, зимой, когда встали морозы, поняла всё. Увидела в сугробе Мусю, соседскую кошку. Летом эта Муся восхищала меня своими меховыми штанами и манерой держаться, и, если покормишь, так в пору не ждать кошачьей благодарности, а благодарить самой, вновь бежать за кружочком колбаски. И вот, в сугробе лежит чучело, вроде тех, в краеведческом, и ветер пушит его искусственную шерстку. Я поднесла к шерстке ладонь и в ту секунду поняла: папе не холодно под землей, его там просто нет. Поняла, и веселее бежалось лепить снеговичью голову, потому как еще одно, важнее важного, поняла. Раз папы под землей нет, значит он над землей, и возможно мы скоро встретимся. Это было так понятно и радостно до спазма в груди.

– Ты тогда слепила лучший в мире снеговик.

– Пожалуй. А психа еще осенью поймали, если верить участковому дяде Коле. Я верю. Дядя Коля заявился как-то после дождя и бодро отрапортовал. Почему-то думал, мы обрадуемся. Чтобы не расстраивать, мама усадила его пить чай. Синюю помню рубашку, мокрую под погонами. Дядя Коля, кроша в кулаке баранку, посвящал нас в подробности. Оказалось, псих – лет пятидесяти мужичок, сущий ребенок, плакал в наручниках. Его нашли у сестры, в глухом далеком месте... в Тириково, Чириково – что-то такое. После дождей дороги раскисли, и милиция долго чинила «УАЗик», участковый дядя Коля рассказывал об этом очень подробно. «Трамблёр, – рычал он и немного брызгал чаем на скатерть, – стартёр!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.